



## О сладострастнике Достоевском и невинных девушках (к юбилею Н.Н.Страхова)

Борис Парамонов

В России прошел почти незамеченным один юбилей - человека, которого и при жизни не очень замечали, и после смерти чуть ли не тут же забыли. Мы говорим о Н.Н. Страхове, сто семьдесят пять лет со дня рождения которого исполнилось в октябре прошлого года. Правда, обширная статья появилась в электронном журнале "Русское самосознание" - Николай Ильин, "Понять Россию". Статья грамотная, автор - человек, предмет свой несомненно знающий в подробностях, но, как и следовало ожидать, из тех людей, которых называют профессиональными русскими. Ясно было, что Страхова вспомнят именно они. Точно так же Константин Леонтьев очень упорно утилизируется отцами-пустынниками, и, в меньшей степени, Розанов (Розанова "истинно русским" голыми руками не взять - мешает, несомненно, его антихристианство). Между тем, Страхов человек был замечательный - из тех, что создают самое тело культуры, хотя сами редко отличаются яркими индивидуальными талантами. Конечно, Страхов известен историкам литературы - главным образом как сподвижник Достоевского по журналам "Время" и "Эпоха". Между прочим, это именно из-за статьи Страхова был закрыт первый из этих журналов; мы еще вернемся к этому сюжету. Страхов был по образованию биолог, защитил магистерскую диссертацию, и в общем был специалистом в этих вопросах. Отсюда между прочим его горячее одобрение другого мыслителя, едва ли не одного с ним типа - Николая

Данилевского, автора на шумевшей в свое время книги "Россия и Европа": это был как бы ранний русский набросок позднейшего немца Шпенглера. Но нас связывает Страхова с Данилевским (оба они считаются главными представителями так называемого позднего славянофильства) еще потому интересуют, что оба, будучи биологами, выступили с резкой критикой тогдашней модной новинки - дарвинизма. Данилевский целую книгу написал о Дарвине, так и называвшуюся - "Дарвинизм"; лучше было бы ее назвать "Анти-Дарвин". Современное состояние биологической науки позволяет прийти к выводу, что эта критика была в основе правильной. Дарвинизм вообще подорван, если не уничтожен новейшей биологической дисциплиной - генетикой. Мы не можем входить здесь в подробности, но русские критики Дарвина выдвигали против него именно те аргументы, которые были потом подтверждены генетикой. Между прочим и у Розанова, в некотором роде ученика Страхова, есть замечательная антидарвинистская статья (в сборнике его "Природа и культура").

Ныне Розанов в моде, широко издается и вообще канонизирован как один из русских гениев. В связи с этим и Страхова вспоминают: он же помог Розанову выбраться из глухой провинции и устроил его на службу в Петербург. Это считается чуть ли не главной его заслугой. Но Страхов сам был замечательным если не мыслителем, то критиком и публицистом, можно сказать первого ранга критиком. Это ведь Страхов первым дал адекватную оценку Льву Толстому, когда появился его роман "Война и мир". Первому увидеть гения - немалая заслуга. У Страхова есть целый цикл статей о "Войне и мире" - писавшихся по мере выхода очередных томов русской национальной эпопеи. Страхов первым назвал Толстого писателем гениальным. А в 1869 году, когда роман закончился печатанием, Страхов написал:

**"С появлением пятого тома "Войны и мира" невольюно чувствуется и сознается, что русская литература может причислить еще одного к числу своих великих писателей. Кто умеет ценить влечения и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время".**

Вообще Страхова - вместе с Аполлоном Григорьевым - следует считать реформатором русской литературной критики. Они умели увидеть в художественном произведении прежде всего его эстетические достоинства - тем самым покончив с сильнейшей в России традицией так называемой реальной критики, когда то или иное литературное сочинение бралось исключительно как повод поговорить об общем неустройстве русской жизни. Слов нет, классиками этого направления - Белинским, Добролюбовым, да и Чернышевским (не говоря уже о просто талантливом скандалисте Писареве) - многое было сказано верно и ярко. Но эстетической эту критику назвать нельзя: вместе с водой выплескивали ребенка. Писатель ценился прежде всего или даже единственным образом за элементы общественной сатиры в его творчестве. Так, посчитали сатириком и реалистом Гоголя, даже объявили его отцом так называемой натуральной школы в русской литературе, - тогда как Гоголь был фантастом и эротическим визионером. Недаром Пушкин был едва ли не дезавуирован в эпоху шестидесятых годов, когда процветала эта реальная критика. Говорить о литературе как о литературе, понять, что главное в искусстве - само искусство - начали как раз эти самые поздние славянофилы - Аполлон Григорьев и Страхов. Чистыми эстетамы их тоже назвать нельзя, им тоже было присуще некое идеологическое априори. Была создана идея и практика так называемой органической критики. Основатель ее Аполлон Григорьев писал, что идеальное - это аромат и цвет реального. Художественное произведение, другими словами, правомочно и заслуживает самого этого названия тогда, когда оно умеет выразить в образах интимную глубину национальной жизни, понять и воплотить национальную психологию, выявить некий, как сказали бы сейчас, национальный архетип. Художественная литература - это как бы декларация духа нации, взятой не во внешних явлениях ее общественно-политической истории, а в глубинных измерениях самого ее бытия.

Вот так Страхов и трактовал "Войну и мир": подлинное художественное произведение - всегда национальный эпос, а не рассуждение, более или менее талантливое, на злобу дня. Конечно, такой подход к литературе был способен увидеть в ней большее, нежели общественная сатира или провозглашение неких головных идеалов. Но можно ли считать так называемую органическую критику - несмотря на все ее подлинные достижения и прозрения - адекватным методом суждения о литературе и жизни?

Да, как раз и о жизни. Вот тут и наметился некий судьбоносный срыв. Поздние славянофилы (впрочем, как и ранние) исходили из того, что существуют некие генотипы национального бытия, только разворачивающиеся в истории. Это было чем-то вроде нынешнего структурализма: не происходит ничего, что не было бы предзаложено в том или ином бытийном образовании. Поэтому столь уместными казались биологические аналогии, к которым прибегали биологи Данилевский и Страхов (а за ними одно время и Розанов): история народа аналогична жизни органического существа, вроде дерева, которое в своем существовании - подчас многовековом - всего-навсего развивает и демонстрирует изначально заложенные в нее структуры. То есть, сказать по-другому и яснее: в истории не происходит ничего нового, не образуется нового. Еще яснее: в истории, в человеческом бытии нет свободы - а есть predetermined программа того или иного развития, лучше сказать разворачивания, развертывания, осуществления изначально проекта. Эксплицируя эту теорию, требовалось объявить любые человеческие усилия, направленные на реформу бытия, на осуществление в нем того или иного идеала, - пустопоржним идеализмом, или, как стали это называть после Тургенева, - нигилизмом.

Тургенев был одним из любимейших авторов Страхова, наряду с Толстым.

Вершинным его достижением он считал - и справедливо - роман "Отцы и дети". Но что увидел Страхов в Базарове, этой несомненно значительной личности, какой урок был им дан? Вот как он формулирует это в статье, посвященной "Отцам и детям", говоря о самом авторе, Тургенева:

**"Общие силы жизни - вот на что устремлено всё его внимание. Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, в том самом Базарове, который их отрицает; он показал нам если не более могущественное, то более открытое, более явственное воплощение их в тех простых людях, которые окружают Базарова. Базаров - это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, он только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с материнской силою.**

## **Как бы то ни было, Базаров всё-таки побежден не лицами и не случайностями жизни, но самую идею этой жизни".**

Это, конечно, правомочная точка зрения. Но это не единственно возможная точка зрения. Страхову суждено было убедиться, что так называемая сила жизни очень и очень может уступать титаническим усилиям человека по ее переустройству. Другое дело, что из этого - как мы теперь убедились - редко выходит что-либо хорошее, но самый факт отрицать нельзя. Органика бытия не всеильна перед лицом человека. Об этом лучше всего сказал, на мой взгляд, современник и оппонент славянофилов философ Борис Николаевич Чичерин: в бытии существует неорганический элемент, и имя ему свобода.

Эта ситуация, так выразительно сформулированная Страховым, предстает особенно интересной (можно сказать, пикантной), когда мы узнаём, что протипом Базарова был ни кто иной, как воспетый Страховым за органическую силу - Лев Толстой.

Организмизм Страхова отнюдь не делал его реакционным обскурантом или, пуще того, националистом. Об этом лучше всего свидетельствует та самая статья, из-за которой закрыли журнал Достоевского "Время". Статья называлась "Роковой вопрос" и посвящена была проблеме русско-польского противостояния, как раз максимально обострившегося в начале шестидесятых годов, когда началось очередное польское восстание против русского владычества. Шум устроил всеильный тогда издатель газеты "Московские Ведомости" Катков, с которым очень считались в правительстве. Статья Страхова была подписана не его именем, а псевдонимом "Русский", и узнав в конце концов, кто был ее автором, люди, в том числе сам Катков, были страшно удивлены: русская лояльность Страхова была вне сомнений. Несколько заостряя, можно сказать, что Страхов выступил в этой статье на стороне Польши. Для него указанное противостояние было не столько политическим, сколько культурным, причем Польша - страна, крепко укорененная в западной культурной традиции, - тем самым была для Страхова как бы на порядок выше России, потому что в России, по его мнению, как раз не хватало культурного самосознания, а наоборот, господствовал некий культурный разброд, вызванный неадекватной адаптацией к Западу, вернее попытками такой адаптации.

Отсюда задачей России объявлялся поиск культурной идентичности, а не политического могущества. Страхов, как и все славянофилы, призывал найти и сформулировать вот эту самую русскую идею - обрести самостоятельное культурное лицо, которого, несмотря на самые высокие залого и обетования (тот же Лев Толстой), всё еще не было.

Конечно, такая острая реакция на страховскую статью была неадекватной, но в известном смысле понятной со стороны людей, думавших прежде всего о политике. Страхов же был человек совершенно аполитичный. Розанов писал о нем:

**"Самым независимым человеком в литературе я**

**чувствовал Страхова, который никогда даже о правительстве не упоминал, и жил, и мыслил, и, наконец, служил на государственной службе (мелкая и случайная должность члена Ученого Комитета министерства просвещения), имея какой-то талант или дар, такт или вдохновенье вовсе не интересоваться "правительством" (...) Страхов провалился бы сквозь землю от неуважения к себе, если бы в речи, имеющей культурное значение, он допустил себе, хоть минуту, подумать о приставе. Он счел бы унижением думать даже о министре внутренних дел, - имея в думах лишь века и историю".**

Далее Розанов пишет, что это вообще замечательное свойство русских, "прелестная свобода", как он говорит, не думать о правительстве, о политике, о злобе дня. Это именно славянофильское свойство. И это верно, если мы вспомним, что как раз славянофилами была создана теория "государства и земли": государству - сила власти, земле (то есть обществу, народу) - сила мнения. Эта теория была сформулирована Константином Аксаковым еще в 50-х годах 19 века и, странно - даже стыдно - сказать, что она оказалась верной во всех дальнейших перипетиях многострадальной русской истории.

То есть это верно фактически, но видеть здесь идеал и норму, если угодно самую эту русскую идею - очень большая, прямо роковая ошибка. Между прочим, самые последние события, буквально вчерашние, еще раз убеждают в этой постыдной истине: недавние парламентские выборы. В сущности они продемонстрировали, что русский народ равнодушен к демократии, к идее народоправства и готов довериться правительству - государству, силе власти. Что верно, то верно: у русских нет политического инстинкта, какового не было и у немцев; по словам Томаса Манна, это и привело высококультурную Германию к фашистскому срыву. Ну а какие срывы происходили в русской истории - напоминать, думается, не надо.

Между тем это отсутствие политических инстинктов, политического сознания как такового отнюдь не гарантирует беспечальности народной жизни, не обеспечивает ее благочиния. Как тут не вспомнить слова классика о русском бунте бессмысленном и беспощадном. А ведь настоящего бунта Пушкин и не видел - не дожил до октября 17 года. Русский народ доказал не только свою глухоту и слепоту к политике, но и способность очертя голову бросаться в бездну. Это отнюдь не благостный народ. Платон Каратаев и мужик Марей - миф.

В этом пришлось убедиться и самому Страхову. Можно сказать, что течение отечественной истории внутренне подорвало его славянофильскую веру. Страхов, написавший первую в русской литературе серьезную работу о Герцене (в 1870 году, сразу же после его смерти: вот еще русская традиция - о покойниках говорить можно), назвал его отчаявшимся западником, превратившимся в нигилистического славянофила. Самого Страхова можно назвать отчаявшимся славянофилом.

Сравним некоторые высказывания Страхова, чтобы убедиться в резкой эволюции его (если не взглядов, то) настроений. Вот что он писал в 70-е годы в статье "Последние произведения Тургенева":

**"На святой Руси никогда этого не будет; ни французская мода, ни немецкий прогресс никогда не будут у нас иметь большой власти и серьезного значения. Не такой мы народ, чтобы поверить, чтобы глубокие основы жизни могут быть сегодня открыты, завтра переделаны, послезавтра радикально изменены".**

Всё произошло, как теперь говорят, с точностью наоборот. Этапным событием, несомненно, стал народовольческий террор и последовавшее в 1881 году убийство Александра Второго. И надо сказать, что еще до самого этого убийства, наблюдая настроения общества и особенно молодежи (как раз и устроившей террористическую войну с правительством), Страхов изменил свою точку зрения, свои оценки русского настоящего и будущего. В разгар народовольческого террора он стал писать свои "Письма о нигилизме". В одном из них говорится:

**"Может быть, нам суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения; но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу; от нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал, спасительных и животворных".**

Эти надежды весьма скоро испарились. Страхов далее:

**"Нас ожидают страшные, чудовищные бедствия, и что всего ужаснее - нельзя надеяться, чтобы эти бедствия образумили нас. Эти беспощадные уроки нас ничему не научат, потому что мы потеряли способность понимать их смысл... Разве можно изменить историю? Разве можно повернуть то русло, по которому течет вся европейская жизнь, а за нею и наша? Эта история совершит свое дело. Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумением всё думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье; а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видали".**



Камертон вроде бы прежний: разве можно изменить историю? Но содержание истории - в том числе и русской - нынче видится совсем по-другому: не органический рост, а катастрофические срывы. Вот главное отличие поздних славянофилов от ранних: те благодумствовали в своем органицизме и вере в беспечальное русское будущее, а поздние под влиянием событий от этого благодушия отказались. Бердяев говорил, что трагическое чувство истории, бытия вообще в славянофильской мысли появилось впервые у Константина Леонтьева. Но, как мы видели из приведенных цитат, то же самое можно сказать и о Страхове.

В заключение чувствую необходимым рассказать одну историю, которая стала совершенно неотделимой от Страхова и позволяет многое в нем понять более углубленно. Это его печально знаменитое письмо ко Льву Толстому от 28 ноября 1883 года. Страхов только что закончил писать биографию Достоевского, приложенную к тому его посмертно опубликованных произведений; работа была чрезвычайно добросовестной и долгое время считалась основным источником биографических данных о Достоевском. Но чувства при этом сам Страхов испытывал смешанные, - работа эту, по самому жанру апологетическая, далась ему с трудом. И вот что он написал давнему своему корреспонденту Льву Толстому:

**"Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развращен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если б он не был так зол и так умен. (...) Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях (...) Лица наиболее на него похожие, - это герой "Записок из подполья", Свидригайлов в "Преступлении и наказании" и Ставрогин в "Бесах"... Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливецем, героем и нежно любил одного себя (...) Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что...."**

Далее в издании переписки Страхова с Толстым идут два ряда точек, но исследователям, видевшим рукописи, давно известно, что рассказывал Висковатов о Достоевском: тот якобы признался, что в молодости изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Опубликованное при жизни вдовы Достоевского Анны Григорьевны это письмо вызвало возмущение и, естественно, дезавуировалось защитниками Достоевского, Страхов был объявлен клеветником. Ныне у нас нет сомнений в том, что он написал правду: Страхов был чистым и порядочным человеком. Можно сказать, слишком чистым и порядочным. И это было, как мы понимаем сейчас, не столько его достоинством, сколько недостатком. Живя в этом мире, рискуешь многого в нем не понять, если смотришь на мир глазами невинной девушки. Розанов где-то написал, что Страхов был чем-то вроде девушки, как, впрочем, и все славянофилы. Уже одно это обстоятельство не позволяет видеть в славянофильстве - хоть старом классическом, хоть в позднем, страховско-григорьевском, - нужный проект для России. Понять Россию, к чему призывает автор апологетической статьи о Страхове Николай Ильин, - это не значит реставрировать славянофильские о ней представления.